

## Игорь МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в поселке Реттиховка Приморского края. Образование высшее техническое. В данный момент работает на атомном предприятии.

Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Номах. Искры большого пожара», «Маяк», «Сланские были и небылицы» и другие. Прозу, стихи и пьесы пишет более двадцати лет. Публиковался в журналах «Москва», «Роман-газета», «Новый мир», «Юность», «Дружба народов». Книги входили в короткие списки литературных премий «Ясная Поляна», «Большая книга», «Русский Букер» и других.

Живёт в Ногинске, Московская область.

## ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ИЮНЬ

Как вы относитесь к путешествиям, дорогой читатель? Наверняка ведь неплохо, правда? И потому я предлагаю вам в высшей степени необычное путешествие. Мы совершим его вместе, следуя ни более ни менее, как за тополиной пушинкой, одной из тех, что так часто видишь в июне. Необычный вариант, не правда ли? Ну, так что ж...

Вперёд, читатель! Путешествие начинается.

Для начала вообразите себе южный город. Не приморский, нет. Просто южный город, насквозь, будто камень в степи, пропечённый солнцем, и настолько пыльный, что подчас кажется, что он и сам не более чем пыль, и налети вдруг с кавказских предгорий ветер покрепче, не миновать ему участи быть развеянным по ветру, будто горке муки у забывчивой хозяйки.

Возможно, однажды так и случится, но пока город стоит на своём месте вполне крепко, хоть и дрожит в полуденном асфальтовом мареве, словно мы смотрим на него сквозь волнующуюся воду.

А вот и наша пушинка. Ленивый южный ветер несёт её, то и дело роняя к самой земле, будто засыпая на ходу, но неизменно просыпаясь в последний момент, и снова вознося вверх. Смотрите, мы на самой окраине города. Кругом сады, приземистые, будто подтаявшие на солнце брикеты мороженого, частные домики. Сонливость и пыль. Какая скука, читатель! Листья черешен обвисли от жары. Куры, которые на окраине совсем не редкость, забились в траву и сидят под огромными, как зонты возле пивных ларьков, лопухами. Удивительно, до каких размеров могут вырастать лопухи в тех краях. Даю вам честное слово, что каждый второй из них вырос до размеров слоновьего уха, а некоторые так и хочется сравнить с чехлом от рояля. Чрезвычайно интересная тема эти южные лопухи...

Впрочем, стойте. Нашу пушинку вынесло, наконец, из пыльных призаборных зарослей, и даже более того, вознесло на некоторую высоту, откуда можно обозреть окрестности. Смотрите, что за интересное зрелище – большие и малые машины зелёного и красного цветов, люди с оружием... Рассмотреть бы подробности, но ах, досада! Ветер заснул, и мы снова направляемся к земле. Занятная картина скрывается от нашего взора. Впрочем, не спешите расстраиваться. Я, как пригласивший вас в это путешествие, в действительности знаю несколько больше, чем вы можете себе представить, и потому, прошу вас, не спешите расстраиваться.

Смотрите, ветер усилился и его порыв, пронеся нашу пушинку вдоль белёной стены, покрытой выщерблинами и трещинами, больше похожими на разломы, внёс её в комнату. Не удивляйтесь лёгкости, с которой мы сюда проникли. Оглянитесь, видите: стёкла в окне сплошь разбиты. В комнате трое молодых людей. В руках у них короткие чёрные автоматы, с рыжими, как лисьи хвосты, рожками. Один из молодых людей, скорчившись, лежит на полу, и вид у него такой, словно он хотел бы залезть под плинтус или просочиться сквозь щели в полу. Это, конечно же, невозможно, но, знаете, я понимаю его. С ним тут не очень хорошо обошлись. На спине у него три растрёпанные дырки, под грудью лужа крови. И ей, крови, удалось достичь чуть большего, нежели её хозяину. Ей, во всяком случае, удалось просочиться под пол. Человек ещё дышит, но это, право, ненадолго. На поверхности начавшей темнеть багровой лужи плавают две тополиные пушинки – родные сёстры той, на которой путешествуем мы, читатель. Помаши им рукой, и давай осмотримся. Здесь есть диван, «стенка», торшер, два кресла. Несколько десятков лет назад это могло бы казаться едва ли не роскошью, но сейчас вид у вещей такой, словно они уснули давным-давно, да так и состарились, не успев проснуться.

На стенах большие и маленькие чёрно-белые фотографии. На них люди с честными и открытыми лицами, многие мужчины с орденами и медалями на груди. Спокойствие их лиц странным образом не вяжется с тем, что происходит перед их картонными глазами. Но, знаете, если бы люди прошлого могли себе представить, на что придётся смотреть их фотографиям, на их лицах застыл бы такой ужас, что ни один, даже самый любящий, потомок не согласился бы повесить такое фото на стену.

Что бы тебе ещё интересного показать тебе в этой комнате, читатель? Ах да, мы же забыли об оставшихся двух молодых людях. Они сидят на полу, прижавшись к стене, и время от времени стреляют в окно. Лица у них измождённые, словно их несколько дней везли без еды и питья в совершенно неподходящих для человека условиях. Чтобы сразу расставить все точки над *i*, сообщу, что мы видим перед собой один из многочисленных вариантов так называемых «приморских партизан». На их счету три разгромленных отделения милиции, двое убитых с ножевыми ранениями и четверо с огнестрельными. Больше тут, читатель, смотреть не на что.

Поток воздуха выносит нас обратно через всё то же развороченное, будто сквозь него пытался пролететь самолёт, окно.

Смотрите! А вот и те, кто пришёл спросить с «партизан» за их деяния. На них неуклюжие бронжилеты, в которых они немного напоминают надевших шубы детей. Помните, такие толстые, из искусственного меха? На головах у них шлемы, придающие их обладателям ещё

более неуклюжий вид. Как и «партизаны», солдаты изредка постреливают. Им жарко. Они хотят поскорее убить засевших в доме измотанных людей и отправиться куда-нибудь, где тень и холодная водка.

Но дальше, дальше... Восходящие потоки несут нас к слуховому окну дома, что стоит напротив уже знакомого нам, с фотографиями и двумя живыми людьми, которые скоро станут мёртвыми.

В слуховом окне видно сосредоточенное лицо снайпера. Он отвечает за то, чтобы двое живых не избежали своей законной, но, в общем, незавидной, участи.

Снайпер – очень интересный человек, большой оригинал. Когда он встречает кого-то, кто пытается обидным словом или жестом вывести его из себя, он мысленно примеряет к его лицу пурпурную нашлёпку, похожую на комочек размякшего на солнце пластилина, и немедленно успокаивается.

Сейчас ему сильно мешают носящиеся вокруг белые, похожие на вату, хлопья, и он сердится, поскольку знает, что его излюбленный психологический приём в данном случае не работает.

Ещё добавлю, что среди коллег он считается плохим снайпером, только нашим знакомым в доме это вряд ли поможет.

Так и есть. Поток воздуха возносит нас, но мы успеваем услышать из слухового окна выстрел и, чуть погодя, другой. После чего наступают гулкая, как в колоколе, тишина. Вдали слышен крик машины скорой помощи, но вряд ли ей стоит спешить.

Ветер несёт нас вверх, читатель. С высоты видно, как из разрушенного окна, захваченные потоком воздуха, вылетают несколько пушинок, и вот мы уже все вместе летим прямо в небо. Смотри, как красиво вокруг! Здесь только солнце и тополиный пух. Очень похоже на рай.

## ПТИЦЫ

Вы не знаете, каково это ходить со стаей птиц на голове?

Попробую рассказать, правда, не знаю, получится ли. Некоторые вещи почти невозможно объяснить, не прослав сумасшедшим.

Тем не менее я начну, а там посмотрим.

Итак, птицы. Я не знаю точно, сколько их. Их число постоянно меняется, как число листьев на дереве из года в год или от сезона к сезону.

Они крайне беспокойные существа. С ними нелегко. Впрочем, что я. Нелегко... Нет, тут должно быть другое слово. Другое.

До двенадцати лет я был обычным ребёнком, который знает о птицах ровно столько, сколько положено знать человеку его возраста: у них есть перья, крылья, клюв, хвост. Крошки любят. Всё, пожалуй.

Первую свою птицу я обнаружил в пятом классе после получения какой-то совсем уж обидной двойки по математике. Меня вызвали отвечать тему, которую я благополучно проболел, свалившись с ангиной. Учительница минут пять с жалостью наблюдала мои потуги. Подсказывала, как могла, задавала наводящие вопросы. Потом, вздохнув, попытожила:

– Не знаешь. Ни-че-го. Садись, два.

– Как два? – шептал я, идя к своей парте. Дневник дрожал в ослабевшей от обиды руке. – За что? Я болел!..

Я сел за парту, повернулся к стене, изо всех сил сдерживая поднимающиеся откуда-то от самого сердца слёзы, несколько раз судорожно глотнул, но, в конце концов, закрыл лицо и разрыдался. А когда опустил руки, понял, что у меня на голове сидит птица и что-то клюёт.

Нет, это было не больно, и даже не неприятно, но меня не оставляло чувство непрерывной потери по мере того, как она склёвывала это что-то. Я оглянулся вокруг, думая, что весь класс будет с удивлением тарашиться на меня, но нет. Кто-то смотрел на доску, кто-то в окно, кто-то в тетрадь. Я никому не был интересен.

Я чувствовал, как жёсткие птичьи лапки переступают по моей голове, покалывая кожу острыми коготками.

Я оглянулся ещё раз, недоумевая, неужели все вокруг вдруг разом ослепли.

– Чего уставился? – сказала сидевшая сзади меня матёрая троичница Филиппова. – К себе смотри! Или иди ещё поной, – ощерилась она.

Зубы у неё были прекрасные.

– Сама ной... Дура! – буркнул я и отвернулся.

Птицу никто не видел! Да, она была небольшая, по ощущениям не больше воробья, но я помнил, как однажды во время урока ботаники через открытую форточку в класс влетела синица и весь наш пятый

«Б», загалдев, тут же принялся следить за ней, пока ботаничка меловой тряпкой не выгнала её обратно на осенние улицы. Тогда ту злополучную синицу заметили моментально, сейчас же у человека по голове уже минуту творится то же самое, и все ноль внимания. Я глянул на учительницу, надеясь, что эта внезапная слепота поразила только детей, но нет, та несколько раз скользнула по мне равнодушно усталым взглядом и не задержалась ни на мгновение.

Я осторожно поднял руку, хватанул раз, другой, пытаюсь схватить вёртку, как прибрежный малёк, нахалку. Та перебежала на затылок, оттуда к уху, потом пронеслась на колких коготках по коже лба и снова замерла на макушке. Я поднял вторую руку и принялся ловить шустрое создание уже двумя руками. И снова безрезультатно. Птица не давалась. Она оказалась настолько ловкой, что появившись у меня тогда ещё несколько пар рук, как у индийского бога из учебника по истории, то и в этом случае у меня бы ничего не вышло.

– Что, Ширшов, проверяешь, на месте ли голова? – спросила учительница. – Судя по тому, как бездарно ты ею пользуешься, самое время проверить.

Класс с готовностью грохнул смехом, словно два десятка парт разом упали на пол. Я отдёргнул руки, спрятал их меж коленей, словно это они были виноваты в сложившейся дурацкой ситуации. Птица, испугавшись громкого звука, взлетела, быстро молотя крылышками, но тут же поняла, что ей ничего не угрожает, и вновь вернулась на место.

Это была умная птица.

Плетясь из школы домой, я специально выбирал самые людные улицы, надеясь, что кто-то вдруг закричит:

– Смотрите, какой странный мальчик! У него на голове птица!

Тщетно, никто не кричал и не тыкал пальцем ни в меня, ни в окопавшуюся в моих волосах птицу. А она меж тем всё клевала и клевала что-то из воздуха возле моей головы и от этого становилось не по себе. Хотелось упасть, сжаться в комок и закрыть лицо руками. Но делать этого было никак нельзя, потому что одно дело носить на голове птицу, которую видишь только ты, и совсем другое падать при всём народе на пыльный асфальт и корчиться, немилосердно пачкая выстиранную матерью вручную школьную форму. И я шёл дальше с ощущением, что, несмотря на куртку, форму и ботинки, я самый голый человек во всём городе.

Дома я первым делом бросился к висящему в прихожей зеркалу. Оттуда на меня глянуло бледное в тусклом свете лампочки лицо. На макушке у меня сидела маленькая пташка. Серая, с тонким, острым, как гвоздик, клювом, она что-то суетливо выглядывала вокруг, оценивая новое место. И вдруг замерла, встретившись со мной глазами. От взгляда её чёрных блестящих глазёнок меня бросило в дрожь. По спине крупной просыпались мурашки.

– Уходи, – попросил я ей.

Но она продолжала, не отрываясь, смотреть мне в глаза.

Я вдруг понял, что она уже никогда не оставит меня, и мне стало невыносимо страшно.

– Уходи! Уходи! Уходи! – крикнул я и прямо в ботинках побежал в комнату.

Кинулся на диван, накрыл голову подушкой, повыл от бессилия и сам не заметил, как провалился в забытё.

Через несколько часов пришла с работы мать, разбудила меня, тронула лоб.

– Тебе плохо? Ты заболел? Температура?..  
У неё были прохладные руки. Я спрятался у неё на плече, прошептал:  
– Я устал, наверное... И ещё эта... Она...  
Я прислушался, птицы на голове не было.  
– Кто? Учительница? Класная ваша, да? Она мне сразу не понравилась. Я пойду, поговорю с ней.  
– Нет, мам, не надо. Это не она. Это я так... Я сам.  
Не расскажешь ведь, что у тебя на голове целый день катался маленький тёмный комочек перьев. В двенадцать лет уже знаешь, что некоторые вещи не понять даже матери.  
– Нет, мам. Я сам, наверное...  
– Ну, смотри, а то давай, я схожу.  
– Нет, – качнул я головой, прислушиваясь, не вернулась ли моя мучительница.  
– Ты такой лохматый, – сказала мать, разглаживая мне волосы. – Стричь тебя пора.

Я осторожно оглянулся. Птицы нигде не было. Возможно, она затаилась на крыше шкафа, где лежал толстый, как школьная тетрадь, слой пыли, или в вентиляции на кухне, или за тёмной репродукцией картины «Дети, бегущие от грозы».

Это была хитрая птица. Она хорошо пряталась.

Я лёг спать. Наутро птица не вернулась. Несколько дней я со страхом ожидал, что вот сейчас она снова опустится на мою голову, пробежит тонкими коготками по незащитному моему виску и, остановившись в районе темени, снова примется склёвывать что-то, отчего я снова почувствую себя похожим на пустую кормушку, которую насквозь продувает холодный, словно бы сделанный из невесомого льда, ветер.

Но я ждал напрасно. Птица не явилась. Точнее, не явилась в тот год.

Мы снова встретились под Рождество. Впрочем, тогда я не знал, что это была рождественская ночь. В пору моего детства было не принято отмечать религиозные праздники, и мы их не отмечали. Кроме разве что Пасхи.

Я тогда сильно болел. Температура под сорок, я переползал с одного края кровати на другой, пытаюсь уйти от обволакивающего меня жара. Мать сидела рядом и читала книгу, временами поглядывая на меня. Я смотрел на светлый круг, что бросала на потолок настольная лампа. Горячая серость затягивала меня, тяжёлая, неподатливая, похожая на сгущённое молоко. Я закрыл глаза и попытался уснуть. Наверное, мне это удалось, потому что, когда из рук уснувшей матери выпала книга, звук падения разбудил меня. Мои сухие, пышущие жаром глаза распахнулись, и я успел заметить, как с моей переносицы взлетела птица. Кожа щёк сохранила прикосновение ветра от её вострепнувших крыльев. Птица вернулась на голову. Я застонал и вяло взмахнул рукой, пытаюсь согнать её. Но скорее это был жест отчаяния. Я знал, что согнать её невозможно. Ослабевшему от болезни, мне захотелось плакать, но слёз не было, их высушил жар.

С тех пор птица больше не расставалась со мной, и через некоторое время я так привык к ней, что иногда совсем переставал замечать, как не замечают люди обуви на своих ногах или одежды на теле. С той лишь только разницей, что птица не защищала меня ни от холода, ни от ветра. Наоборот. С ней меня часто охватывало чувство открытости и незащитности перед миром. Будто кто-то с размаху толкал меня в горную реку. Было холодно, хотелось скулить, прятаться.



Но нужно сказать и о другом. Возникало порою при этом странное ощущение свободы и лёгкости. Словно я был воздушным шариком, отпущенным детской рукой в морозное зимнее небо, к белым облакам и холодному, яркому солнцу. Тело становилось невесомым от несказанной бурлящей радости, и я напоминал себе обломок белого пористого шоколада или стакан кипящей пузырьками минералки.

Со временем число птиц росло, и временами у меня на голове собиралась целая стая. Они кричали на разные голоса, иногда настолько громко, что закладывало уши. Было тут и звонкое синичье теньканье, и пронзительный соечий треск, и соловьиные переливы, и круканье воронов.

Человек со стай птиц на голове мало подходит для жизни в городе. А может, и для жизни вообще. Он не подходит для работы в конторе, где нужно целый день названивать по телефону, ругаться с людьми и забивать белый экран монитора чёрными знаками. Птичьи стаи не предназначены для путешествий в автобусах и электричках. Попадая в замкнутое пространство, они начинают в ужасе метаться вокруг меня, задевая крыльями лицо, отчего я кривлюсь и щурюсь, как от боли. Иногда какая-нибудь особенно неосторожная птица задевает концом крыла глаз, и тогда я шиплю сквозь стиснутые зубы, словно рассерженный лебедь. Часто за производимым птицами шумом я перестаю себя контролировать и лишь по реакции окружающих, которые вдруг начинают смотреть на меня со скользкой смесью сострадания и отвращения, понимаю, что выдаю себя. Я замыкаю эмоции внутри, но хватает меня ненадолго. Невозможно успокоить кипящий чайник, не сняв его с огня.

Хуже всего на работе. Там то и дело приходится общаться с людьми. Уговаривать, просить, требовать, оправдываться.

Птицы не любят мою работу. Голоса их, стоит мне прийти в контору, окрашиваются капризными нотками, они легко срываются на крик, а к вечеру, когда духота и усталость высушивают меня до состояния заскоружлой, забытой на батарее половой тряпки, переходят на визг.

Вот несколько отрывков из моего дневника. Возможно, это поможет вам что-то понять о моих взаимоотношениях со стай.

*07.11.201... года*

Утро. Соседка-сплетница, любительница поскандалить и пожаловаться на жизнь, ещё не пришла. Мы с ней приезжаем на одной электричке, но на рабочее место она приходит неизменно минут на двадцать позже меня. Где шляется, не рассказывает, зато при случае не прочь шепнуть начальству, что я целыми днями ничего не делаю, и свалить на меня свою работу.

Но пока её нет, я могу в тишине выпить кофе.

Птицы мирно переговариваются вполголоса. Иногда одна из них срывается, делает круг по комнате и возвращается ко мне на голову.

Пью кофе, смотрю в окно. Там разгорается тяжёлый ноябрьский рассвет. Низкие облака плывут чёрно-багровым флотом. На душе у меня спокойно, холодно и пусто. Душа моя где-то там, на одном из тех чёрно-багровых кораблей. Ей хорошо там. Она смотрит на рассветную, голую перед наступающей зимой землю, и ей ничего не надо. Там дуют ледяные ветра, но она рада стоять на призрачной палубе и готова плыть так хоть всю жизнь.

Скрипит, открываясь, дверь. Входит соседка, здоровается. Она всегда и со всеми старается быть доброжелательной. По крайней мере, при разговоре глаза в глаза.

Машинально отвечаю.

Душа не хочет возвращаться в офисную паутину.

Несколько птиц недовольно вскрикивает. Словно присоединяясь к ним, верещит дрянной механической игрушкой телефон. Со вздохом отпиваю кофе. Тянусь к трубке.

Вот и начался ещё один рабочий день.

– Здравствуйте... Да, я понял, о чём вы. Это моё письмо.

Голос в трубке до болезненности неприятный, словно кто-то колет мне в ухо острой гитарной струной.

– Там у вас всё перепутано! Понимаете? Всё! Всё, что можно было перепутать, вы перепутали!..

Глотаю слюну, морщусь. Какой всё-таки противный голос. У самой неприятной из моих птиц лучше. Без сомнения.

– Для начала давайте успокоимся.

– А я спокоен!

Сложнее всего привести в чувство людей, заявляющих, что они спокойны.

– И тем не менее. Давайте по порядку. Где и что у меня перепутано.

Краем глаза замечаю интерес соседки к моему разговору. Чужие промахи – её хлеб и радость.

– Обозначения комплекующих – не те!

– Много?

– Да все почти!

У меня вечные проблемы с этими семи-восьмизначными цифрами, которыми мои коллеги жонглируют с ловкостью цирковых артистов. Мне цифры даются плохо, я мог перепутать. Легко.

– По порядку, пожалуйста...

Небольшая синичка, вчерашний птенец по виду, повисла, вцепившись в витки телефонного провода, тот чуть качнулся под её весом.

– Хорошо, давайте по порядку, – соглашаются на том конце линии тоном, не предвещающим ничего хорошего.

Похоже, я действительно серьёзно напутал.

Я так и научился спокойно относиться к своим ошибкам. Каждый раз, когда меня тычут в них лицом, у меня такое чувство, какое было однажды, когда меня в детском саду голым выставили перед девочками. Это совсем не больно, но очень стыдно. Это мучительно, и ты не знаешь, куда себя деть.

Я смотрю в окно, где красно-чёрная облачная эскадра становится просто серой, как утро пенсионера.

– Вы меня слышите?

– Нет, – не думая, честно отвечаю я.

– Что?

– Да слышу я вас, слышу... Давайте, что у вас там.

И попытка начинается.

– Вот здесь. Первая строка. Оболочка у вас указана двенадцатого исполнения. Вы КД открывали? Откуда в ноль восьмой сборке двенадцатая оболочка?..

– Ну, наверное, мне так в ОГК сказали, – неуверенно пытаюсь оправдаться.

– Да ладно, у них КД всегда под рукой, они не могли такого сказать. Во второй строке ТУ у вас указаны. Я не знаю, где вы их взяли. Таких ТУ вообще не существует.

Птицы кружатся вокруг меня рассерженным роем, верещат, я едва понимаю, о чём со мной разговаривают.



Записываю что-то машинально. Чувствую, как закипаю. В голосах птиц нотки истерики. Вот одна с упругим стуком ударилась в оконное стекло, упала оглушённая на подоконник, встрепенулась и взлетела, снова ударилась. В воздухе вокруг меня маленький ураган.

– Спасибо, я всё проверю и отзвонюсь.

Бросаю трубку, хватаю ветровку.

– Я в заводоуправление, – кидаю соседке.

Она кивает, старательно делая вид, что не слушала моего позорного разговора, но спина её выдаёт внимание.

Выхожу, почти выбегаю, хватаю ртом осенний воздух, наполненный сыростью, запахом опавших листьев и улетевших птиц.

– Это невозможно...

Мало-помалу мои птицы успокаиваются. Становится тише...

*30.12.201...*

Скоро Новый год. Сижу на совещании. Пригласили для проформы. Моих вопросов нет. Я спокоен, почти расслаблен. Делаю вид, что слушаю споры, а сам просто наблюдаю за своими птицами. Они тоже спокойны и расслаблены. Порхают по кабинету. Вот одна чистит клюв о лежащий передо мной отчёт. Проведёт головой вправо-влево, посмотрит на меня. В глубине чёрного глаза искорка, словно далёкая, еле видимая звезда. Незаметно подмигиваю ей.

Директор по производству. Огромный, эмоциональный почти до безрассудства армянин. Пишет что-то в блокноте, неодобрительно поглядывая на спорящих, но пока молчит. Это ненадолго, я знаю.

Беспокойная малиновка пробежала поперёк его строчек, оставила маленькую белую кляксу на записях. Он не заметил, ему не до того. Он наливаясь краснотой, будто градусник, и во взгляде его всё больше взрывоопасной составляющей.

«Успокойся, скоро Новый год. Сейчас мы вернёмся каждый к себе в отдел, выпьем по бокалу шампанского и пойдём по домам готовиться к главной бессонной ночи года».

Громадный, как вепрь, ворон сидит у меня на плече. Клюв его открыт и временами он громко и неожиданно крукает, так что я почти вздрагиваю. Самое странное, что вздрагиваю не я один. Директор-гигант тоже дёргается. После очередного вороньего крика он бросает ручку на стол и бросается в спор, как в драку. Я успокаивающе и по возможности незаметно дую ворону на шею. Он закрывает клюв, отворачивается к небу в окне, переступает жёсткими сучьями лап.

Совещание окончено. Расходимся. Я чуть задерживаюсь, поджидаю залатавшуюся малиновку и выхожу одним из последних.

Все улыбаются, скоро Новый год.

*07.03.201...*

Холода невероятные. Выморозили весь мир до основания. Иногда кажется, что всё вокруг ледяное и стукни чуть посильней, разобьётся. И неважно, что перед тобой, бетонный столб, дерево или человек. Хожу осторожно, гололёд. Не отпускает безумная мысль, что если я упаду, осколки мои разлетятся на десятки метров вокруг, заскользят, поскачут по гладкому истёртому льду, затянувшему землю.

Птицы то ли от предчувствия весны, то ли от разразившихся холодов звереют. Склёвывают тепло, и меня захлёстывают ледяные волны из мира вокруг.

Мир напоминает о себе каждый день, каждый час. Тычет меня палкой, словно злой инвалид, прямо в душу, где больнее.

Сегодня отключили свет. Оказалось, у нас остановился счётчик. Уже месяц или два. Счета приходили с пометкой «переплата». Я действительно переплатил несколько месяцев назад и думал, что до сих пор не исчерпал тот ресурс. Оказалось, исчерпал.

Отключили без предупреждения, на что, в общем, не имели права. Дело было вечером, как в том детском стихе. Я позвонил в аварийку, долго объяснял, что случилось, просил включить свет обратно. Те пообещали.

Потом сидел на кухне возле горящей свечи. Птицы, склевавшие на мне всё, что только можно, собрались вокруг неё. Глядели, переговаривались, чистили перья. Отсветы огня играли на их лапах, клювах, когтях. Глупый молодой грач вертел головой, поворачиваясь к свече то одним, то другим глазом, и временами удивлённо оглядываясь на меня. Мне стало интересно, что могло удивить его. В конце концов, это ведь большой вопрос, как видят мир птицы. Так же, как мы видим его? Или как-то иначе? Что если их реальность и наша не совпадают ни в одной точке, что тогда?

Да ничего, ответил я сам себе. Как жили, так и будем жить. Ничего нового под луной.

Жить без света непривычно, но можно. Куда труднее жить, зная, что в любой момент из окружающей тебя тьмы может высунуться инвалидная палка этого мира и ткнуть мне в лицо, в совесть, в гордость.

Электрики приехали и включили свет, потребовав обещание завтра же заплатить долг. Загоревшиеся лампочки успокоили меня, почти примирив с инвалидом и его тростью.

Птицы обожают мороженое. Я же не могу его есть. Почти совсем не могу, разве что с горячим кофе. Иначе у меня моментально заболит горло. У меня, как говорила в детстве мать, «поганое горло». Поэтому я часто покупаю мороженое и просто иду с ним по городу, глядя, как птичья стая облепила эскимо и рожок в моей руке и пожирает его, как огонь листву. Облепила так, что я не вижу не только мороженого, но и своей руки до почти до локтя. Рука сплошь покрыта шевелящимся, ссорящимся, верещащим комком из перьев, глаз, клювов и когтей. Птицы торопятся, рвут мороженое на части, и за мной остаётся дорожка из белых капель. Наверное, со стороны похоже, будто я иду и мороженое просто тает у меня в руке.

Глупые птицы... Похожи на детей. Такие же жестокие, добрые, чистые.

Однажды я вышел на улицу без денег. Точнее, вначале они у меня были, но я заплатил за интернет и остался без копейки. И вдруг неожиданно понял, что птицы хотят мороженого. Они увидели его в холодильнике с прозрачной крышкой, похожем на хрустальный гроб из сказки про будущее. Вид мороженого разволновал стаю, словно кто-то неосторожный бросил спичку в осеннем лесу. Птицы разволновались, принялись суесться, бегать, больно вонзая коготки в кожу моей головы.

– Спокойней, – прошептал я им. – Спокойней.

Я знал, что они не послушаются.

Крики их становились всё требовательней, неистовой, движения суеливой и злее. Солнце пекло невыносимо, дома плавилась в горячем, как свежесваренный кофе, воздухе. Это раздражало птиц. Вот одна пеночка сорвалась и принялась кружить вокруг моей головы, нервно попискивая.

– Тише, пожалуйста, – попросил я. – У меня сейчас нет денег. Я дойду до дома, возьму сто рублей и куплю вам мороженого.

Бесполезно. Никому и никогда не уговорить птиц.

Вскоре вся стая летала вокруг меня, била меня крыльями, шипала жёсткими, как пассатижики, клювами. Я шурился и опускал глаза, стараясь, чтобы прохожие ни о чём не догадались.

Домой я прибежал бегом. Боль была такой, что хотелось кричать.

Хуже всего было то, что кто-то рассадил мне кожу под волосами, и оттуда на лоб текла токая, как трещина, струйка крови. Раньше у нас до крови не доходило.

Мне кажется, я знаю, что чувствуют люди, у которых при пытках отщипывали клочки мяса раскалёнными щипцами. Я многое узнал, познакомившись с птицами.

Просьбу о мороженом я выкрикнул продавцу, словно обвинение. Не глядя схватил что-то из стеклянного саркофага и убежал, забыв о сдаче.

Потом долго сидел в парке на скамье. По руке моей текло жирное, как нефть, шоколадное мороженое. Оно капало на лавку, на асфальт, мне на брюки. А я смотрел и видел лишь копошащуюся живую массу перед собой. Я сидел неподвижно, пока птицы не расправились с мороженым. Потом долго вытирал ладонь о траву, вычищал меж пальцев липкие следы, плевал сухим, как старый носок ртом, кривился.

Птицы, наевшись, успокоились, расселись на голове, словно для послеобеденной сиесты, и я даже забыл о них на некоторое время.

Впрочем, ненадолго.

Если у вас на голове живёт стая, вы не сможете надолго забыть об этом.

Утро – беззащитное время.

За ночь птицы склевали всё, что защищало меня, то, чем я обрастал весь предыдущий день, и теперь любое проявление внешнего мира воспринимается как оскорбление. Это пройдёт. Надо поглубже окунуться в заботы, следовать натоптанной изо дня в день колее и всё нормализуется. Чайник на плиту, покормить кошку, забросить в микроволновку завтрак и идти в ванную. Потом бриться, ну, или не бриться, если есть желание ходить со щетиной, в конторе это не возбраняется. Дальше чистим зубы (рвотные рефлексy с возрастом давить всё труднее, то ли я много пью, то ли это отношение к жизни вообще), умываемся (утром без мыла, с мылом – вечером), одеваемся и идём на кухню. Еда уже разогрелась, чайник на подходе. Спешный завтрак. Просыпается жена, целует меня, сонно кривит лицо, борясь с зевотой. Утро мало кому даётся легко. В автобусе птицы, нахохлившись и недовольные, перелетают по салону, словно кто-то швыряется комками мятой бумаги. Ключут пассажиры и меня, оставляют кляксы на одежде, будто метят всех без разбору своей злобой.

Иногда я встречаю в этом утреннем автобусе одну девушку, и тогда поездка становится событием, которое будет греть меня весь следующий день. Она нравится и мне, и птицам. Моя стая кружит вокруг неё, садится на плечи, на голову, на руки. Отчего-то они любят её руки, охотно садятся на длинные пальцы, заглядывают в тонкое блестящее колечко на правой руке, ловят своё отражение, трогают клювом. Ещё они любят её скромные серёжки с двумя каплями туманного жемчуга. Играют с ними, шепчут что-то на ухо. Она не знает, что облеплена моими птицами, но чувствует что-то хорошее и, отвернувшись к тёмному окну, улыбается. Ей идут мои птицы, и, если б она вдруг попросила, я не задумываясь, отдал бы ей половину стаи. Но она не знает о ней и потому

не просит. А птицы ныряют в её сумочку и иногда задерживаются там на несколько минут. Что они делают там, я не знаю, но уверен, что знают они о ней куда больше меня. Бывает, они трогают своими клювами её губы и щёки. Нежно, словно кормят птенцов. Ей приятно, я вижу.

Она выходит раньше меня. Стая вспархивает, рассаживается на поручнях и спинках кресел, провожает её бодрым чириканием и свистом. Она уходит и иногда оглядывается. Порой мне кажется, что я успеваю встретиться с ней глазами.

Двери закрываются, и птицы устремляются ко мне. Они бьют меня в грудь, словно крошечные таранящие самолёты. Это больно. У них острые клювы, они легко пробивают одежду, и неважно в чём я, в майке или куртке. Можно прикрыться рукой, но это мало поможет. А после того как одна огромная, словно платит в автобусе сразу за троих, бабка участливо спросила: «Сердце? Вот и у меня тоже, иногда так прихватит, так прихватит», – я перестал защищаться. И оказалось, что так даже легче переносить их атаки. На губах появляется спокойная улыбка и становится легче, правда легче.

С возрастом (моим, их, не знаю) птицы становятся сильнее, опаснее. Стоит им прийти в волнение, и вот я уже гол как сокол, хотя вокруг люди и у каждого пара открытых глаз. И каждый их взгляд, каждое обращённое ко мне слово, словно соль на выпущенные внутренности.

В эти непростые минуты остаётся только одно спасение – смотреть в окно, в небо. И спасибо тому, кто придумал делать в домах окна. Ну, и тому, кто придумал небо, конечно.

Этот вечно меняющийся пейзаж, горы, поля, пустыни – прекрасное место для побега. Оттуда трудно достать, если ты всерьёз решил убежать.

Иногда мне кажется, что птицы только затем и мучают меня, чтобы я почаще сбегал в небо. В синие родниковые просторы, в самый тонкий из существующих оттенков цвета.словно тебя из сырого инквизиторского подвала, прямо с прелой осклизлой соломы, пропахшей страхом и нечистотой, переносят в летние сияющие поля твоего детства. К густым, как травяной чай, запахам, полуденную тягучую истому, прошитую, как стежками, треском кузнечиков и криками охотящихся стрижей.

Разволновавшиеся птицы с разлёту бьют меня в грудь, и я ухожу всё дальше в сияющие поля, в небо, травы, облака, смех кузнечиков, застоившиеся, разогретые полевые запахи.

Я возвращаюсь, но делаю это с каждым разом всё менее и менее охотно. Думаю, однажды мне надоест всё это, и я останусь там навсегда. В конце концов, это всего лишь жизнь.

Птицы становятся всё более и более беспощадными. Распробовав однажды, они полюбили мою кровь. Пришлась по вкусу. Теперь стоит им расстроиться или разозлиться, и вот уже у меня по щекам или груди течёт кровь, горячая, ярко-красная, проступающая сквозь одежду.

Я люблю белые рубашки. Без галстуков, конечно. Офисный дресс-код никогда не привлекал меня, но рубашки... Эта любовь откуда-то из детства. От утренников в детском саду, праздников, волнения, первых выученных наизусть стихов. Я ношу белые рубашки часто насколько могу. Почти каждый день. Кровь хорошо на них смотрится.

Отчего-то мои ассоциации неизменно уходят к битве на заснеженных полях. Снег, кровь, снегири, брошенные бинты. Это не из личного

опыта. По крайней мере, не из моего опыта. Со мной такого не было. Возможно, с кем-то из моих предков.

Позёмка летит над полем, покрытым неподвижными телами в серых шинелях с некрасиво и неестественно вывернутыми руками, застывшими лицами, глазами, опущёнными снегом. Позёмка носится, упоённая свободой, треплет полы побелевшие шинелей, брошенные знамёна, лямку медсестричкиной сумки с красным крестом.

Тишина, безжизненный вой ветра.

Я смотрю, как белая ткань рубашки напитывается красным, проявляя на мгновение нитяную решётку ткани.

Струйка крови, не спеша, сползла от горла и нырнула за воротник, спряталась там ненадолго, не открывая себя, и вот вышла на свет.

В общем, это даже красиво. Не та красота, которую хочешь, чтобы видели все. Я рад, что видим это только мы с птицами. Хотели бы вы видеть напротив себя человека, заляпанного красным и делающего вид, что ничего не происходит?

А в каком состоянии ложатся на стол начальнику мои документы! В пятнах, смазанных ладонью, потёках, со слипшимися листами. Если бы на мой стол лёг такой документ, со мной бы случился нервный припадок.

Шучу. Не случился бы. Я люблю свою кровь.

Вот это новость... Внутри меня тоже есть птицы.

Обнаружил я это совсем недавно. Сломался рабочий компьютер. Система зависла, я перезагрузился, но экран так и остался чёрным. Я перезагрузился снова. Без изменений. Я чуть не заорал на него. Нет, я бы непременно заорал, будь я один. Но в комнате сидела тётушка, и я сдержался. Птицы заверещали. Одна вцепилась в ухо, другая в бровь. Я постарался успокоиться, сел, откинулся в кресле. Аккуратным движением отёр текущую с брови кровь, согнал с уха рассвирепевшую малиновку. Попытался расслабиться, и мне это почти удалось.

Я смотрел на безжизненное чёрное поле экрана, как в пропасть, и вдруг перед глазами моими что-то мелькнуло. Птица! Не мне удивляться птицам, но в этот раз она пролетела внутри головы. Внутри! Я замер. Кажется, даже сердце моё остановилось. Птица пролетела снова, и на этот раз никаких сомнений уже не осталось. Она внутри! Как кораблик в бутылке, как бабочка меж оконных стёкол, как тропическая хищная рыбка в аквариуме.

Она ударилась изнутри о глаза, ушибла крылья, грудь. Я зажмурился, сжал веки пальцами. На секунду мне показалось, что ещё немного, и она вырвется наружу. Но, ударившись раз, другой, третий, она оставила попытки и суматошно взмахнув отбитыми крыльями, улетела в темноту внутри меня.

Вы не представляете, каково это, жить с двумя стаями птиц. Одной снаружи и ещё одной внутри. Да-да, вскоре выяснилось, что внутри меня тоже живёт целая стая. И теперь время от времени они вдруг вырываются откуда-то из темноты и мечутся перед моими глазами.

Я не знаю, что видят те, кто заглядывает в мои глаза, когда перед хрусталиком летают малиновки, стрижи свиристели и вороны. Зрелище, должно быть, странное.

Мой начальник, впервые уловив метания птиц в чёрных кружках моих зрачков, замолчал и с минуту, не отрываясь, следил за ними. Потом с трудом повернулся к окну и, зажмурившись, долго массировал себе веки.

– Вы в порядке? – спросил я, хотя по-хорошему это он, наверное, должен бы поинтересоваться моим состоянием.



– Не знаю... – вдруг ответил он неожиданно усталым и искренним голосом, словно признался в чём-то. – Не знаю. Иди, потом договорим.

Любопытная коноплянка спорхнула на стол, клюнула блестящее перо его «монблановской» ручки, посмотрела на меня, будто предлагая оценить шутку, и вернулась мне на голову.

С тех пор я заметил, что окружающие, общаясь со мной, стараются смотреть в сторону, в лучшем случае на мои губы и не выше.

Мне, признаться, нравилось мельтешение птиц внутри меня. Когда я наблюдал за их полётами, мне хотелось петь, ну, или хотя бы улыбаться. Я часто улыбался в то время.

Всё было хорошо до тех пор, пока стаи не стали прорываться друг к другу. Что заставило их делать это? Не знаю, наверное, всё тот же вечный закон, влекущий подобное к подобному.

Они бились о стенки черепа, о грудь, о рёбра, но самое болезненное начиналось, когда они избирали предметом атаки глаза. Вот это было по-настоящему больно. До слёз, до крика, до трясущихся рук.

Я уходил в туалет, закрывался в кабинке и зажимал себе рот, чтобы ни звука не вырвалось наружу. Я не вполне уверен, получалось ли. Всё-таки очень трудно контролировать себя, когда ты превращаешься в перегородку, разделяющую две разъярённые птичьи стаи.

Но знаете, даже и в эти жуткие минуты у меня не было мысли, чтобы попросить кого-то высокого и всемогущего убрать хоть одну из моих птиц. Несмотря на всю боль, которую они мне доставляли. Потому что, когда боль уходила, я чувствовал себя лёгким, как вишенный лепесток в мае. Чистым, как свет звёзд. Мне казалось, я свечусь. Мне казалось, я сам свет, лишь по недоразумению заключённый в это тело.

Я смотрел на мир так, словно прощался с ним навсегда. С жалостью к остающимся и с предчувствием большого счастья впереди. Не человеческого, понятного, объяснимого, разложенного по полочкам счастья. Нет, счастья неизведанного, которого, кроме меня, может, больше никто и не увидит.

Уставшие птицы внутри рассаживались возле зрачков и, притихнув, смотрели на мир. Я ходил, как ребёнок перед Новым годом, в ожидании чудес и праздника. Даже нет, не ходил, меня носил какой-то хороший и нездешний ветер.

Как вы понимаете, эта история не могла кончиться хорошо. Она и не кончилась.

Хотя, это как сказать. Для окружающих всё выглядело просто и трагично. Ещё, в общем, довольно молодой человек шёл по тротуару, потом упал и больше не поднялся. Скорая приехала быстро, но в больницу везти упавшего было незачем. Человека не от чего было лечить.

На самом же деле в последние дни человек стал тонким, как бумага. Птицы просто съели его. То, что видели окружающие, не было человеком. Он отличался от остальных так же, как воздушный шарик отличается от пушечного ядра. А поскольку жить в этом состоянии можно только очень недолго, то он и не задержался.

Он шёл по летнему пыльному бульвару и вдруг почувствовал, что безумная тяжесть планеты больше не держит его. Закричали птицы внутри и снаружи, забили крыльями, что есть сил, отчаянно, радостно, надрывая свои птичьи сердца, устремились вверх, унося с собой человека.

Человек взлетел и больше не опустился.



## ХОСТЕЛ

Довелось мне как-то заночевать в хостеле. И я, как и многие попавшие сюда, беспокоился о сохранности своих вещей. Подошёл к плечистой коротко стриженной девице за стойкой и спросил, есть ли у них сейф, где я мог бы до утра спрятать свои документы, банковские карты и деньги.

– Найдётся, – ответила та и подвела меня к металлическому шкафу, разделённому на множество ячеек.

Каждая ячейка закрывалась на цифровой восьмизначный замок.

– Код вы назначаете сами, – пояснила девушка и покрутила колёсики на дверце открытой ячейки. – Всё абсолютно надёжно.

«То, что надо», – подумал я.

Если бы ячейки закрывались на обычный замок, я бы всё равно не был уверен, вдруг у кого-то есть дубликат от него. А так код знаю только я, и это гарантирует сохранность вклада.

– Мне нравится, – сказал я вслух, укладывая в шкаф своё добро.

Заплатил за хранение, заодно прочитав надпись на груди девушки: I'm bitch and I like it. Похоже, девица была феминисткой. Впрочем, надо сказать, довольно усталой феминисткой. Под глазами её залегали тени исключительно естественного происхождения. Волосам не повредил бы ни шампунь, ни кондиционер. По майке, под которой она ничего не носила, прыгали весёлые корги и щуки, и всё это вместе мне определённо нравилось.

Потом я пошёл, чтобы немного выпить на оставшиеся средства, и, так получилось, нахлобучился довольно прилично. В хостел вернулся с пустыми карманами и лёгкой душой, которую сообщает необременительное пьянство.

Не могу сказать, что похмелье было тяжёлым. Я собрался, умылся, почистил зубы и приготовился покинуть гостеприимное заведение.

Напоследок надо было забрать ценности из сейфа.

Я в задумчивости выставил колёсиками дату рождения своей кошки. Ячейка не открылась.

«Странно», – подумал я.

В кошке я был уверен.

– Это точно моя ячейка? – поинтересовался я у девушки за стойкой, той же самой, что и вчера и, несмотря на утро, всё такой же усталой.

Она уточнила мою фамилию, сверилась с каким-то списком и безапелляционно заявила:

– Да.

«Странно», – снова подумал я.

Потом последовательно не подошли дни рождения жены, сына, матери, отца, Сталина.

Тут, я признаться, задумался. На всякий случай ввёл дату смерти Сталина, но, как нетрудно догадаться, не сработала и она.

– Это просто праздник какой-то, – произнёс я, облакачиваясь на дверцу ячейки лбом.

– Не открывается?

– Неа.

– Это бывает. Вы вспоминайте, вспоминайте.

Её тон мне определённо не понравился.

Далее не подошли:

– дата Куликовской битвы;

– год смерти Мао Цзэдуна;

– даты Грюнвальдской битвы и битвы при Ватерлоо;

– день взятия Бастилии и даже год открытия Америки, повторенный от отчаяния два раза.

Не сработали восемь единиц, двоек, троек и так далее до цифры девять.

– Знаете, иногда историческое образование превращается в проклятие, – пожаловался я.

Та равнодушно пожала плотными плечами.

Я хотел добавить, что во многая мудрости много печали, но решил, что она сочтёт меня занудой.

Не сработала сотня или две кодов, набранных наугад.

Пользуясь тем, что девушка отвернулась, я набирал хаотичные комбинации носом, лбом, надбровными дугами и, конечно же, всеми десятью пальцами вместе и по очереди.

Кончилось безрезультатно, если только не считать результатом осознание того простого факта, что в казино мне ходить вряд ли стоит.

От отчаяния я ввёл дату восшествия на престол императора Веспасиана, в недрах шкафа что-то звякнуло, но тревога была ложной, дверца не открылась.

– Скажите, у вас есть автоген? – спросил я усталую феминистку.

– Так и не вспомнили код? – с затаённой радостью спросила она, заполняя бланк.

– Нет, просто решил освоить новую специальность, – ответил я. – Ну, конечно, не вспомнил, разве не видно?

– Видно.

Девушка отпустила новоприбывших и подошла ко мне.

– Что у вас в ячейке?

– Паспорт.

– Чей?

– Бенедикта, блин, Камбербётча.

– Очень смешно.

– Мой, чей же ещё.

– Что ещё?

– Банковская карта.

– Записана тоже на Камбербётча?

– Не на меня же.

Девушка, уперевшись ногами, отодвинула стоящий на колёсиках шкаф от стены, с тыльной стороны засунула внутрь руку, вытащила паспорт и всё остальное. Бегло осмотрела, глянула на фото в паспорте.

– Вылитый Камбербётч.

Чуть помедлив, протянула мне.

– Спасибо, что выбрали наш хостел. Ждём вас снова, – заученно выдала она.

Я на автомате спрятал своё добро.

– Вы же сказали, что сейф абсолютно надёжен, – заметил я, всё ещё пытаюсь утрясти увиденное в голове.

– У вас что-то пропало?

– Нет, – признал я. – Но там же нет задней стенки!

– Если бы каждый раз, когда клиент забывает код, мы доставали автоген, мы бы превратились... я не знаю... в автогенную мастерскую.

Она проникновенно, со скрытым торжеством посмотрела на меня.

– Ещё раз спасибо, что выбрали наш хостел.

Я подтянул лямки на рюкзаке.

– Слушайте, но как же вы откроете дверцу этой ячейки? Или она теперь навсегда останется заблокированной?

– Вот ещё. Из-за каждого (неразборчиво) ячейки блокировать.

Я сделал вид, что ничего не заметил

– Тут внутри есть рычажок, который сбрасывает код.

Она протянула руку внутрь сейфа, а потом попросила.

– Введите-ка для разнообразия дату своего рождения.

– Чушь, – пробормотал я. – Эта дата есть в паспорте, и её легко мог узнать любой проходимец в вашей шарашке. Вы же делали копию... – ворчал я, вращая диски. – Именно поэтому я и не стал...

Внутри двери раздался щелчок, и она мягко вышла из пазов.

– Очень по-мужски. Грёбанные эгоцентрики, – пробормотала барышня с той стороны шкафа.

Я до сих пор уверен, что феминистка специально сменила код, чтобы высказать мне своё фи.

Историки никому не верят.

## СЕРЁЖКА

Я сижу и смотрю в сторону, в сторону. Только чтобы не смотреть на серёжку, что лежит у её ног.

Я понимаю, что мне конец.

Она мне выговаривает что-то, но я не люблю, когда мне выговаривают, ненавижу. Между её тапочек лежит серёжка моей любовницы. Она была здесь два часа назад, и запахом её пропитано всё окружающее пространство. Я чувствую его и ухожу куда-то, задумываюсь, словно иду куда-то по дороге из жёлтого кирпича, и вспоминаю каждый момент нашей встречи. Меня потряхивает. Она видит это, но не видит серёжку у своих ног. Поэтому задаёт максимально глупые вопросы: «тут была баба?», «чем тут пахнет?»

Я молчу, смотрю в окно.

Приходит кот, нюхает серёжку. Жена, не отрывая взгляда от меня, машинально гладит кота. Кот нюхает серёжку.

Из коридора приходит наша годовалая дочь. У неё нетвёрдая походка и самая очаровательная улыбка в мире.

Некоторое время она покачивается, стоя меж нами.

– Ты животное. Ты гоняешься за каждой юбкой. Я тоже животное, потому что чую каждую твою бабу.

У серёжки острая игла. Я знаю, я изучил эти серьги с продолговатыми жемчужинками. Немного похожие на запечатлённую Вермеером.

Моя дочь тянет руку к серёжке. Не дотягивается, падает и смеётся, словно в этом и была её задумка.

Жена кидает мне в лицо оскорбление за оскорблением. В основном справедливые.

Я вспоминаю, как качалась эта серёжка... Качалась, качалась...

Дочь тянет серёжку в рот.

## ПИСАТЕЛЬ

Лет восемь ему было. Может, девять. Играли в футбол. Площадка там была такая огороженная столбами с натянутой меж ними сеткой-рабицей. Ворота маленькие, чуть больше хоккейных, но играть было интересно. Бегали, орали друг на друга. Десяток человек играло, ещё столько же стояло вдоль сетки. Отчего-то с внутренней стороны. Да, иногда мешали игрокам, но не то чтобы сильно, и никто не возражал.

Играл он плохо. Не то чтобы сильно хуже других, но только, наверное, всё же похуже. Впрочем, старался, бегал, не отставал. Кричал вместе со всеми, громко.

Возле выхода стояли, прислонённые к столбу двери: сваренные из уголков рамы и всё та же сетка-рабица. По-хорошему им, конечно, надлежало висеть на петлях и закрывать вход на площадку, но петли сломались, и двери стояли прислонёнными к столбу всё с той же внутренней стороны ограды. Они тоже немного мешали игрокам, но только немного, и переставлять их особого смысла никто не видел.

Когда он пробежал мимо дверей, неизвестно почему, может, мячом в них попали, может, задел кто, но только одна дверь упала и прямёхонько ему на голову. У него, что называется, искры из глаз посыпались. Но это только сначала, потом потекла кровь. Искр он не испугался, а вот от вида крови ему стало страшно. Он обмакнул ладонь в мокрую полынью на голове, увидел красное и с криком кинулся в сторону дома. Бежать было не очень далеко, но то ли оттого, что уже набегался до этого, то ли от переизбытка адреналина он быстро выдохся и в подъезд входил уже еле-еле, едва подвывая, не столько от боли, сколько от страха. По лестнице до пятого этажа поднимался уже совсем по-черепашьи и даже не скулил. Где-то между третьим и четвёртым, а может, между четвёртым и пятым, совсем устал и уселся прямо на холодные бетонные ступени. Потрогал голову, где волосы набрякли кровью, поднёс пальцы к глазам, но полумрак подъезда мало что позволял разглядеть, и тогда, повинаясь какому-то древнему инстинкту, пытаюсь восполнить слепоту другими органов чувств, попробовал кровь на вкус. Она оказалась солёной и какой-то родной. Он словно читал, а к тому времени он был уже страстным, если не сказать запойным, читателем, книгу о себе. Он макал пальцы в кровь, будто перо в чернильницу и читал-облизывал, читал-облизывал...

Было странно. Будто в старом, обжитом-исхоженном, знакомом до каждой шляпки гвоздя, доме обнаружилась дверь, а за ней новая комната, или даже целый коридор с вереницей комнат, чей конец терялся далеко в темноте.

Потом он поднялся и пошёл к себе домой, на пятый этаж. Мать заголосила, отец молча потащил его в ванну, где родители вдвоём отмыли его волосы от начавшей густеть шустрой детской крови и, осмотрев рану, поняли, что жизни она не угрожает – так, небольшое рассечение.

Однако ж на всякий случай положили на рану ватный тампон и обмотали ему голову бинтом, будто при зубной боли.

Ночью он долго не мог уснуть, трогал кончиком языка чистые пальцы и вспоминал коридор с комнатами.

Когда вырос, стал писателем. Говорят, неплохим.